

О. С. АХМАНСВА

**ГЛОССЕМАТИКА ЛУИ ЕЛЬМСЛЕВА КАК ПРОЯВЛЕНИЕ УПАДКА
СОВРЕМЕННОГО БУРЖУАЗНОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ**

Гениальный труд И. В. Сталина «Экономические проблемы социализма в СССР» явился основой для дальнейшего творческого подъема в области языкознания. Разработанное И. В. Сталиным марксистское учение об объективном характере законов общественного развития дает прочную базу для научного решения вопроса о внутренних законах развития языка, впервые поставленного перед языковедами в труде «Марксизм и вопросы языкознания». Определив отношение науки к изучаемому объекту, указав на ведущую роль внутренних законов его развития и на объективный характер этих законов, товарищ Сталин дал советским языковедам теоретическую основу для борьбы с извращенными представлениями о науке и ее содержании, развиваемыми современным буржуазным позитивизмом, для которого законы науки есть нечто произвольно вносимое в «аморфный хаос» действительности, порождаемое «организующими свойствами человеческой мысли».

В наиболее чистом виде это идеалистическое понимание законов языка выступает в так называемой «глоссематике», созданной датчанином Луи Ельмслевом и распространяемой в буржуазном языкознании под видом «последнего слова» науки. Глоссематика — это лингвистический вариант доктрины логического позитивизма, воинствующей школы агностицизма, изыскивающей новые способы «обоснования» идей о непознаваемости мира, о «метафизичности» и «трансцендентности» всякой субстанции, всякой объективной реальности, существующей помимо нашего сознания и независимо от него.

1

Критическому разбору основных положений глоссематики, являющемуся целью настоящей статьи, следует предослать несколько замечаний об основных особенностях развития языкознания в новое время, т. е. в период с конца XIX в. и до наших дней.

Как известно, в конце XIX в. появились новые взгляды на язык и стали разрабатываться новые методы в языкознании, причем впервые эти новые идеи были сформулированы главой казанской лингвистической школы И. А. Бодуэном де Куртенэ в его известной работе «Некоторые общие замечания о языковедении и языке»¹. В этой работе Бодуэн де Куртенэ выдвигает необходимость рассмотрения языковых явлений в двух аспек-

¹ См. ЖМНЦ, СПб., 1871, февраль, стр. 279—316.

тах — статическом и динамическом, необходимость различения в языке тех моментов, которые являются живыми, действительными, продуктивными, представляют собой зародыши, зачатки будущих изменений, и тех, которые представляют собой пережитки прошлого, а потому в языке на данном этапе его развития не выступают уже как живые и системообразующие его особенности. «Крайне неуместно, — пишет Бодуэн де Куртене, — измерять строй языка в известное время категориями какого-нибудь предшествующего или последующего времени. Задача исследователя состоит в том, чтобы подробным рассмотрением языка в отдельные периоды определить его состояние, сообразное с этими периодами, и только впоследствии показать, каким образом из такого-то и такого-то строя и состава предшествующего времени мог развиться такой-то и такой-то строй и состав времени последующего»². Эти новые взгляды определили направление всей обширной работы в области фонетики и морфологии, выполненной Бодуэном де Куртене и его учениками, представителями казанской лингвистической школы (Крушевским, Богородицким и др.). Эти же их взгляды явились и общетеоретической основой учения о фонеме.

В Западной Европе необходимость разграничения двух аспектов в языкознании — статического («описательного», «эмпирического» или, наконец, «синхронического») и динамического («эволютивного» или «диахронического») — была уяснена много позднее. Широко распространение эти идеи получили лишь с выходом в свет «Курса общей лингвистики» известного швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра³. Отдавая в полной мере дань де Соссюру, как одному из крупнейших представителей современной лингвистики, необходимо со всей решительностью подчеркнуть, что уже в его работах содержались зачатки того вырождения языкознания, которое вполне выявилось в дальнейшем в работах структуралистов вообще и «глоссематиков» в особенности. Если в работах казанской лингвистической школы изучение строя и состава языка «в некоторое данное время» выступает как неделимое от изучения его развития «в предшествующее время», то де Соссюр оказывается уже неспособным решить вопрос об и с т о р и ч е с к о м изучении языка как системы, и в его работах намечается разрыв между историческим изучением отдельных фактов или явлений и изучением тех соотношений, в которых эти факты находятся в каждый данный период развития языка. Исходя из ложного положения о том, что система языка п р и н ц и п а л ь н о, по самой своей природе может изучаться только статически, невероятно обеднив само понимание языка («система знаков, выражающих идеи»)⁴, де Соссюр пришел к мысли о необходимости построения «семиологии» как широкой научной дисциплины, «изучающей жизнь знаков внутри общества», в которую язык входит наравне с письмом, с азбукой для глухонемых, с символическими обрядами, с формами учтивости, военными сигналами и т. п. и т. д.⁵ Насколько роковыми оказались последствия этой вульгаризаторской идеи для даль-

² ЖМНП, СПб., 1871, февраль, стр. 304.

³ Повидимому, первым из западноевропейских лингвистов, сформулировавшим теоретические основы нового воззрения на язык, был датский лингвист Вивель (H. G. W i w e l, Synspunkter for dansk sproglære, København, 1901); работа Сэшез, ученика Ф. де Соссюра, вышла лишь в 1908 г. (A. S e s c h e h a u e, Programme et méthodes de la linguistique théorique psychologie de la langue, Paris, 1908), а труд де Соссюра был впервые опубликован лишь в 1916 г.

⁴ «La langue est un système de signes, exprimant des idées» (F. de S a u s s u r e, Cours de linguistique générale, Paris, 1922, p. 33).

⁵ См. критику соссюровского «социологизма» и понимания де Соссюром сущности «языкового знака» в журнале «Вопросы языкознания», М., 1952, № 1, стр. 9—10.

нейшего развития западноевропейского буржуазного языкознания, будет показано ниже. Подробно рассмотрев глоссематику Ельмслева, мы увидим, к чему привели эти идеи, когда они подверглись дальнейшему развитию и разработке на основе современной упадочнической философии буржуазного позитивизма.

Включив языкознание в «семиологию», де Соссюр по существу отказался от решения вопроса о развитии языка, о внутренних закономерностях его изменения: «Система никогда не подвергается непосредственным изменениям; как таковая она устойчива (ненарушима); изменению, безотносительно к тем особым отношениям „солидарности“ (*solidarité*), которые связывают их с целым, подвергаются лишь отдельные элементы системы»⁶ (перевод мой. — О. А.). Или: «Речевая деятельность возможна только на основе данного состояния языка; изменения, происходящие в языке между его состояниями, ни в какой мере ее не касаются»⁷ (перевод мой. — О. А.) и т. д.

Высказывания, подобные только что приведенным, не дают, конечно, никаких оснований для того, чтобы заявлять, как это было принято в период господства марровцев, что де Соссюр не признает вообще изменений в языке, рассматривает язык как нечто вечное и неизменяемое. Работы де Соссюра с полной очевидностью показывают, что он прекрасно знал факты многих языков и никак не мог не видеть, что они изменяются и изменялись. Дело здесь, как стало особенно ясно из дальнейшего развития соссюровской лингвистики, совсем в другом. Поскольку для де Соссюра язык есть лишь система знаков, выражающих идеи, принципиально не отличающаяся от всякой другой системы знаков, существенным для нее являются не сами эти знаки в их реальном существовании, а лишь о т н о ш е н и я между ними⁸. Изменения же, происходящие в языке, наиболее очевидно и постоянно осуществляются в отдельных реальных знаках. Для всего построения поэтому оказывается совершенно необходимым всемерно подчеркивать самостоятельность с и с т е м ы, самостоятельность и независимость о т н о ш е н и й внутри системы от реального характера и конкретного существа составляющих ее знаков. Поэтому можно говорить об изменениях, существенных для языка, затрагивающих самый характер общения при помощи этого языка, только в том случае, если доказано, что сама с и с т е м а о т н о ш е н и й стала иной.

В цитированной выше работе Бодуэн де Куртене писал, что «периоды развития языка не сменялись поочередно, как один караульный другим, но каждый период создал что-нибудь новое, что при незаметном переходе в следующий составляет подкладку для дальнейшего развития»⁹. У де Соссюра же получается именно смена систем «как одного караульного другим»¹⁰, причем таких систем, которые в угоду данному построению должны рассматриваться как тождественные самим себе на всем протяжении своего существования.

2

Первой большой работой Ельмслева является книга «Принципы общей грамматики»¹¹. Ее теоретической основой оказываются соответствующие

⁶ F. de Saussure, указ. соч., p. 121.

⁷ Там же, p. 127.

⁸ См. там же, p. 164 и 162. (Ср. русск. перевод книги: Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., Соцэкгиз, 1933, стр. 116—117).

⁹ ЖМНП, СПб., 1871, февраль, стр. 303—304.

¹⁰ Ср. также A. Meillet, *Linguistique historique et linguistique générale*, Paris, 1921, p. 45 и A. Sechehaye, указ. соч., p. 129.

¹¹ L. Hjelmslev, *Principes de grammaire générale*, København, 1928.

положения синхронической лингвистики де Соссюра¹². Новым в этой работе является по существу лишь настоятельное подчеркивание первостепенной важности абстрактных категорий, призывы к признанию существования абстрактного лингвистического состояния, вневременной и вечной лингвистической системы, по отношению к которой реально существующие языки — лишь частные случаи ее реализации. Задача лингвистики, как понимал ее Ельмслев в «Принципах общей грамматики», состоит в том, чтобы создать и описать априори все возможные языковые категории, исходя из внутренней логики языка как семиологической системы. В этой постановке вопроса Ельмслев пошел значительно дальше де Соссюра, который, как известно, признавал законность панхронической точки зрения лишь с большими оговорками¹³. Однако, стремясь превзойти своих предшественников, в «Принципах общей грамматики» Ельмслев еще не противопоставляет им себя — эта тенденция появляется у него позднее; вначале он стремится привлечь все возможное из старой грамматики, начиная с древних греков, для того чтобы доказать, что предлагаемая им концепция оправдана не только своей внутренней логикой, но и всем предшествующим развитием языкознания¹⁴.

Грамматика определяется в «Принципах общей грамматики» как «теория форм», противопоставляемая теории звуков» (стр. 94). Всякий синтаксический факт является морфологическим в том смысле, что он касается только грамматической формы, тогда как всякий морфологический факт может рассматриваться как синтаксический потому, что он всегда основывается (repose) на синтагматической связи между соответствующими грамматическими элементами. Поэтому Ельмслев предлагает следующее деление лингвистических дисциплин и их объектов: фонология и фонетика — как теория фонем, грамматика — как теория семантем и морфем (и их соединений), лексикология и семантика — как теория слов. Приведенное понимание грамматики оказывается, по мнению Ельмслева, удобным в том отношении, что тем самым последняя «освобождается от понятия о слове, которое всегда приводило к бесплодным и безуспешным спекуляциям» (стр. 99—100). Кроме того, это понимание дает возможность установить два основных класса «функциональных категорий» языка для его «панхронического» состояния:

- 1) имя (nom) или семантема, способная принимать морфемы падежа;

¹² Например: «Le langage est un état. On peut appeler ceci la conception grammaticale» («Principes de grammaire générale», p. 7); «C'est ainsi que nous avons pu identifier... le point de vue synchronique avec la conception grammaticale, et assigner au point de vue diachronique le caractère de non-grammatical» (там же, p. 54) и др. Ср. Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., 1933, стр. 104 и 129—130.

¹³ См. Ф. де Соссюр, Курс общей лингвистики, М., Соцэкгиз, 1933, стр. 100, 102 и 103. Из излагаемых там соображений нельзя не заключить, что панхроническому исследованию какой-нибудь абстрактной категории одновременно, например, на материале современного французского языка, аттического греческого и языков банту — которое в идеале не только возможно, но и крайне желательно, — по мнению Соссюра, не может не препятствовать тот факт, что: 1) научное владение одновременно столь разными языками для ученого крайне затруднительно и 2) практически каждый язык с точки зрения его изучения представляет собой определенную единицу, так что по самой природе вещей его приходится в целом рассматривать то статически, то исторически.

Некоторые трудности или даже опасности признает для этого пути и Ельмслев («Principes de grammaire générale», p. 247). Но опытному «априористу» не должны быть страшны никакие опасности, — даже то, что придется пользоваться сведениями, полученными из вторых рук.

¹⁴ Нельзя не заметить, что, хотя Ельмслеvu и удастся, таким образом, вполне обнаружить свою эрудицию, книга оказывается лишенной внутренней цельности, и собственные положения автора тонут среди бесконечного разнообразия подробно излагаемых им систем и точек зрения.

2) глагол (*verbe*) или семантема, не способная принимать морфемы падежа.

Первая из этих категорий подразделяется далее на существительное, прилагательное и наречие — семантемы, выступающие обычно соответственно в функции первичного, вторичного и третичного членов¹⁵.

Таким образом, панхроническая система «функциональных категорий» Ельмслева оказывается системой есперсеновских «субординаций», перенесенной на дихотомическую базу формальной классификации, основанной на способности или неспособности принимать морфемы падежа¹⁶.

При этом конкретной лингвистической основой универсальных и панхронических выводов о частях речи являются всего лишь несколько латинских и греческих примеров (см. стр. 204, 207, 208, 211—212). Поэтому приходится склониться к выводу, что панхроническая классификация частей речи не только не является универсальной, но непригодна даже для описания весьма ограниченного числа общеизвестных языков¹⁷. Несмотря на то, что на словах Ельмслев исходит из языковой формы, стремится как будто бы противопоставить собственно лингвистический подход к явлениям языка старым способам трактовки, «страдавшим смещением точек зрения разных смежных наук», он на самом деле проявляет полное пренебрежение к реальности языковой формы, особой и самобытной в каждом отдельном языке, абсолютно неправомерно схематизирует и потому представляет в совершенно искаженном виде всю проблему частей речи — грамматических классов *с л о в*. Вместо проникновения в природу слова как той основной языковой единицы, в которой только и выявляются все сложные связи лексических и грамматических фактов языка и их взаимопроникновение, и вместо изучения тех реальных систем, которые

¹⁵ Вопрос о местоимениях, по мнению Ельмслева, осложняется в связи с вопросом об артикле и несамостоятельных личных местоимениях во французском языке. Любопытны приводимые в связи с этим рассуждения: «Многие лингвисты... видят в артикле местоимение — точка зрения очень понятная и довольно соблазнительная. Мы, однако, предпочитаем (так!) рассматривать артикль как морфему... Отсюда следует, что он не может составлять функциональную категорию» («Principes de grammaire générale», p. 299—300)... «Однако для того, чтобы это можно было доказать, следует сперва определить (выяснить) природу морфемы» (p. 340). Этими словами заканчивается книга.

¹⁶ Естественно, что, поскольку именно падежные «морфемы» оказались краеугольным камнем всего построения, на разработке этого вопроса Ельмслеву пришлось сосредоточить основное внимание. Результатом соответствующих изысканий явилась новая монография — «Категория падежей» [L. Hjelmslev, La catégorie des cas, étude de grammaire générale, «Acta Jutlandica», Aarhus, VII, 1935 (I) и IX, 1937 (II)], о которой подробно будет сказано ниже.

¹⁷ Что касается, например, французского языка, т. е. как раз одного из тех современных европейских языков, в отношении которых вопрос о морфологической системе имени является наиболее сложным и наименее способным уложиться в традиционные категории классической грамматики (например, вопрос о природе и роли морфемы [z] при образовании мн. числа: [lom] — [lezom], [lphi] — [lezɥɛ] и т. п.), то его материалы попросту никакому рассмотрению не подвергаются. Французские примеры встречаются совершенно между прочим. Так, на стр. 196 без каких-либо пояснений, разборов и оговорок франц. *homme* и *des hommes* приводятся вместе с *hommasse* и *hommelet* для того, чтобы разъяснить, что понимается под «функциональной категорией»: если, мол, взять такую французскую семантему, как *homme*, то видно, что эта семантема охотно соединяется с некоторыми морфемами, такими, как морфемы род. падежа, мн. числа и определения (*des hommes*), но не соединяется, например, с морфемой имперфекта. При этом, как уже было сказано выше, Ельмслев совершенно не считает нужным обосновывать причисление той или другой единицы к «морфемам» (тем более, что это понятие в «Принципах общей грамматики» остается не определенным). Он просто предпочитает (*nous préferons*) называть его так, это ему более удобно.

в разных языках представляют собой части речи, получается бесплодное выскикивание в разных языках отдельных разрозненных фактов. При насильи как над этими фактами, так и над определениями, даваемыми соответствующим общим понятиям, оказывается возможным подвести их под априористические абстрактные категории.

В связи со сказанным нельзя не напомнить о том, что поиски «всеобщей грамматики» являются основной задачей языкознания с точки зрения многих современных буржуазных лингвистов. Так, например, Вандриес в своей программной статье¹⁸ считает основной задачей лингвистики и, в частности, возглавляемого им объединения лингвистов сравнение языков, проводимое вне связи с общностью их происхождения, а единственно с целью выявления наиболее существенных лингвистических категорий, общих всем языкам и обусловленных общностью человеческих потребностей. Поэтому может показаться (и если ограничиться только рассмотрением материала «Принципов общей грамматики», то и не без некоторого основания), что предлагаемая Ельмслевом система представляет собой лишь одну из разновидностей понятийной методики, получившей в разных вариантах широкое распространение в буржуазной лингвистике и в весьма эклектической и путаной форме насаждавшейся у нас акад. И. И. Мещаниновым и его учениками¹⁹. Однако если мы обратимся к последующим работам Ельмслева, то убедимся, что решение методологических вопросов языкознания в том направлении, которое избирается Вандриесом, не представляется Ельмслеvu теоретически приемлемым. Ведь сравнивая разные языки, мы вновь и вновь оказываемся «перед лицом двойственного проявления одной и той же категории ценностей: проявления (manifestation) в виде морфем, с одной стороны, и проявления в виде семантем — с другой» («Категория падежей», I, стр. 77—78). Но можем ли мы просто сказать, что, например, во французском языке сочетание предлогов с существительными — падежи? Нет, отвечает Ельмслев, не можем, потому что «мы не имеем критериев, которые показывали бы нам, что является семантемой и что является морфемой, что такое аналитизм и что такое синтетизм. Поэтому мы стоим перед проблемой, трудности которой представляются непреодолимыми. Единственной опорой является орфография (!—О. А.). Коль скоро мы лишаемся этой опоры (как это имеет место во всех языках, не имеющих литературной традиции), объективное решение проблемы представляется невозможным» («Категория падежей», I, стр. 79—80).

Естественно спросить: как же быть в таком случае со «всеобщей грамматикой», предметом изучения которой должны быть морфемы с семантемами, если нет критериев для различения семантем и морфем, для различения аналитизма и синтетизма? Отказаться от языковой формы и поставить во главу угла всякого рода «понятия» (notions), «понятийные категории» (notional categories) и т. п., означало бы вернуться на «весьма устаревшие» пути исследования. Между тем речь у Ельмслева

¹⁸ J. Vendryes, La comparaison en linguistique, «Bulletin de la Société de linguistique de Paris», t. XLII, f. 1, Paris, 1946, p. 1—18.

¹⁹ Конкретно речь шла бы тогда только о том, чтобы считать морфемами не только артикли, но и все предлоги и предложные наречия и все анафорические местоимения. Тогда можно было бы легким, простым и испытанным способом подвести под панхронические и универсальные «функциональные категории» самые разнообразные факты самых различных языков, поставив знак равенства, например, между такими «морфемами падежа», как *-i* в лат. *domi* и *à* во франц. *à la maison*; далее, сравнивая франц. *à Paris* и *dans la ville* и лит. *miškė* и *miške*, заключать о существовании универсальной категории «падежа точного пункта», противопоставляемой «падежу пункта, обладающего протяженностью» («Principes de grammaire générale», p. 265).

идет о создании принципиально новой лингвистики, подчеркнуто противопоставляемой «старой антинаучной лингвистике» (об этом подробнее см. ниже). Выход, по Ельмслеву, оказывается очень простым: вынести языковую форму за пределы языков, понимать под ней «категориальные ценности», чистую форму. То же, что реально существует в языках, объявить не формой, а ее выражением («Категория падежей», I, стр. 80—81). Выдвигаемая Ельмслевом чистая форма может существовать в языках идеально, т. е. помимо выражения и независимо от него.

Методика, предлагаемая Вандриесом и его последователями, для Ельмслева оказывается слишком грубой и примитивной. Кроме того, она требует операций с морфемами и семантемами, рассмотрения реальных языковых данностей, что, по мнению Ельмслева, научно неправомерно, так как вполне точно определить, что такое, например, морфема, не представляется возможным. То, что делают лингвисты, когда пытаются, исходя из понятий, выяснить, какими средствами выражаются эти понятия в том или другом языке, представляет собой, по мнению Ельмслева, недопустимый априоризм. Кроме того, «загрязняя» свои лингвистические исследования постоянным соприкосновением с «субстанцией» как в плане выражения, так и в плане содержания, они искажают, по его мнению, положения де Соссюра, обнаруживают неспособность усвоить то, что было у этого лингвиста истинно ценного и передового. Ведь де Соссюр имел в виду чистые отношения, постоянно говорил об отрицательном определении языковых ценностей и т. д.²⁰

*

Как выглядят изложенные общие постулаты в применении к разрешению частных вопросов грамматики, можно показать на примере трактовки Ельмслевом категории падежа в его уже упоминавшейся специальной работе. «Всеобщее» определение падежа по Ельмслеву гласит: «Падежом является категория, выражающая отношение между двумя предметами» («Категория падежей», I, стр. 96). При этом, естественно, под предметами (objets) ни в коем случае не следует понимать что-либо, связанное с какой-либо «субстанцией», какие-либо реальные предметы, отражаемые мыслью, или какие-либо реальные единицы, существующие в реальной «субстанции». Предметы (objets) для Ельмслева — только «члены (термины) отношения» (termes de relation) («Категория падежей», I, стр. 96—97).

²⁰ Ельмслев не устает громить всех тех лингвистов, которые считают необходимым заниматься рассмотрением реальных фактов различных языков. В этом отношении очень любопытна его рецензия на упоминавшуюся уже выше программную статью Вандриеса (см. «Acta Linguistica», v. IV, f. 3, Copenhagen, 1944, p. 144—147). Ельмслев горько упрекает Вандриеса за то, что указываемый им путь исследования основан на представлениях о непрерывности языка, о «факторе времени» (facteur temps), о лингвистических связях между поколениями и т. п., вместо того, чтобы уверовать в полную невозможность каких-либо сдвигов или плавных переходов и понять, что изменение языков может осуществляться только скачками (в этой части Ельмслев приводит, между прочим, в пример Вандриесу работы И. И. Мещанинова, среди других «правильных» лингвистов сумевшего якобы придать соответствующим изысканиям истинно широкий размах). Таким образом, французские и швейцарские лингвисты вслед за своим учителем все же не решаются вовсе разделиться с проблемами диахронии (хотя и не в состоянии научно их разрешить) и остаются при своих представлениях об исторической грамматике, восстанавливающей слова и звуки и пр. «Что же остается при таком подходе для структуральной лингвистики и особенно для изучения чистой формы?» — восклицает в заключение Ельмслев (стр. 147) и возмущается тем, что Вандриес ни словом не обмолвился об этом.

«Общая теория падежей» Ельмслева строится на принципе трех «измерений» (*trois dimensions*), из которых каждое покрывает определенную семантическую зону, а именно: 1) направление (*direction*), состоящее из приближения-удаления (*rapprochement-éloignement*), 2) контакт, состоящий из когеренции-инкогеренции (*coherence-incoherence*), и 3) (более редкое) — субъективность-объективность (*subjectivite-objectivite*). Путем чисто логического анализа природы противопоставлений, в пределах одного измерения устанавливается иерархия терминов, число которых может доходить до шести. Так, например, в «измерении» направления легко различаются три семантические зоны — приближение (обозначаемое знаком $+$), отдаление (обозначаемое знаком \div) и покой (*repos*) (обозначаемый знаком ноль). Среди этих подразделений «измерения» одно является интенсивным (*intensif*) и составляет стержень системы. Оно противопоставляется нейтральному (*neutre*); все остальные группируются вокруг первого в виде различных конфигураций; так, в системе из шести членов, например, два оказываются в отношениях противоположения (*opposition contraire*), а два — в отношениях противопоставления (*opposition contradictoire*). Выбор «интенсивного члена» решает ориентацию всего измерения как положительного, отрицательного или нейтрального. Все остальные члены (кроме интенсивного) называются экстенсивными.

Предложенная система должна, если верить Ельмслеvu, дать теоретическую возможность описания всех падежных с и с тем, которые можно себе вообразить во всех языках мира от минимального числа падежей в каждой системе (которое устанавливается как d в a), до максимального (теоретически устанавливаемого как 216)²¹. Обе цифры выводятся т е о р е т и ч е с к и из определений природы лингвистических противопоставлений. Известные языки далеко не достигают до установленного таким образом максимума; однако анализ тех из них, которые имеют наиболее богато развитые системы падежей, показывает, по мнению Ельмслева и его учеников, что на основе изложенных теоретических соображений вполне можно дать такие их описания, которые не противоречат внутренней логике всего построения в целом.

Обычный недостаток работ Ельмслева — абстрактно-декларативный способ изложения и разительная диспропорция между абстрактно-декларативной частью и частью конкретной лингвистической, казалось бы, удачно компенсируется тем, что «Категория падежей» оказывается гораздо более насыщенной материалом, чем «Принципы общей грамматики». Однако это материал особого характера. Подобно «последователям» Марра у нас и «дескриптивным лингвистам» в Америке, строившим свои антинаучные схемы на материале мало известных языков, фактам которых можно было придавать любой смысл и толкование, Ельмслев опирается на факты табасаранского, лакского и некоторых других мало известных языков²².

²¹ Т. е. 6 в третьей степени. (см. «La categorie des cas...», I, 137 и II, p. 76).

²² Действительно, кто может проверить, соответствует ли, например, реальным фактам языка начез установленный методами дескриптивной лингвистики состав морфем этого языка, если на нем к моменту его обнаружения говорили только два человека — старик и старушка (причем на разных диалектах). В том, что вряд ли соответствует, убеждают результаты, получающиеся у этих лингвистов, когда они начинают, вопреки обыкновению, применять свои методы к хорошо и широко известным языкам; см., например, статью Мартине (A. Martinet, *About Structural Sketches*, «Word», ч. V, New York, 1949, № 1), где весьма наглядно показано, что получилось, когда Р. А. Холл попробовал применить свои «методы» к французскому языку. Ср. также рецензию Бонфанте на упражнения того же автора в области итальянского языка (там же). Результаты применения марровских «методов» к французскому, русскому и английскому языкам затрагивались нами в другом месте (см. сб. «Против вульгаризации и извращения марксизма в языкознании», ч. I, М., Изд-во АН СССР, 1951, стр. 422—426).

Широко известных европейских языков Ельмслев касается лишь мимоходом без разбора материала или обоснования делаемых им выводов. Поэтому англистам предлагается просто принять на веру, что в английском языке, «если рассматривать имя в изолированном виде», имеется «генитив» — «интенсивный член, несущий ограниченное и четко определенное значение, в противоположность которому „негенитив“ можно определить, как неопределенный и индифферентный по отношению к падежным различителям» («Категория падежей», I, стр. 114). Генитив этот является «падежом исключительного отдаления» (*cas d'éloignement exclusif*).

Оказывается, однако (там же, стр. 119), что «лучше» трактовать английскую систему как четырехпадежную, приняв ее также и для датского языка (там же, стр. 20). Тогда в английском языке окажутся еще субъективный, транслативный и дательный падежи — «три четко различающихся падежа, распознаваемые на основании порядка элементов»; например: *the boy (subjectif) sent his mother (datif) a letter (translatif)*. Поскольку все подобные рассуждения Ельмслева не основываются на каком-либо разборе или доказательстве, к ним вообще очень трудно относиться серьезно. Однако не только можно, но и нужно указать (хотя это и не будет иметь значения для Ельмслева, вполне «освободившего» себя от реальных языковых фактов) на то, что научно неправомерным и совершенно искусственным является объединение того, что с точки зрения реальных языковых фактов безусловно относится к совершенно различным «планам языковых ценностей», соответственно, к слову и словосочетанию. Это было понятно уже старым «пражцам», но, оказывается, совершенно непонятным Ельмслеву, который, таким образом, идет не вперед, как он хочет все время нас уверить, а, наоборот, вспять по сравнению с предшествующим языкознанием.

Из известных нам «глоссематических» работ только две касаются широко известных европейских языков со сравнительно небольшим числом падежей, так называемых «бедных систем». Так, в работе «Вклад в дискуссию о теории падежей»²³ Серенсен поставил себе задачу продемонстрировать преимущества «локалистической» системы Ельмслева по сравнению с другими структурными описаниями, причем для вящей наглядности привел материал из известной работы Якобсона²⁴ для того, чтобы показать, как устанавливаемое этим последним противопоставление двух родительных и двух местных падежей в русском языке будет выглядеть при его интерпретации в терминах ельмслевовой системы. Вот как рассуждает Серенсен: «Интенсивный член γ настаивает на крайних участках семантической зоны и, следовательно, в концепте направления, на удалении и приближении. Экстенсивный член Γ ... является нейтральным по отношению к концепту направления, но имеет тенденцию распространяться по всей зоне и, следовательно, способен указывать оба направления». Якобсон приводит такие примеры: *рюмка коньяку* (род. 2) и *качество коньяка* (род. 1). «Нам представляется, — пишет далее Серенсен, — что концепт направления в абстрактном значении, придаваемом ему Ельмслевом, как находящийся в противопоставлении с отсутствием направления, является наилучшим способом описания отношений между... род. 2, который следует определять символом γ , и род. 1, который следует определять символом Γ » («Вклад в дискуссию о теории падежей», стр. 131).

²³ H. C. Sørensen, Contribution à la discussion sur la théorie des cas, «Travaux du cercle linguistique de Copenhague», v. V, Copenhague, 1949.

²⁴ R. Jakobson, Beitrag zur allgemeinen Kasuslehre, «Travaux du cercle linguistique de Prague», 6, 1936, p. 240—288.

Эти же соображения, по мнению Серенсена, могут быть полностью применены и к отношению между двумя местными падежами. Серенсен считает, что исходя из общей теории Ельмслева, можно без колебаний обозначить местн. 2 символом γ , а местн. 1 — символом Γ в первом измерении. Поскольку различие между, например, *лесу* и *лесе* Якобсон разъясняет как различие между обозначением вместилища, содержащего в себе определенные предметы, и обозначением предмета, обладающего определенными качествами (т. е., например, *сколько красоты в лесу* в отличие от *сколько красоты в лесе*), Серенсену представляется «...естественным сблизить понятия в м е с т и щ а и н а п р а в л е н и я — не того или другого направления, а того и другого» (там же, стр. 131—132).

Из приведенных примеров ясно, что Серенсена совершенно не интересуют факты русского языка. Ему, по видимому, и в голову не приходит поставить вопрос о том, насколько р е а л ь н ы и существенны для русского языка различия, описанные Якобсоном. Он, так же как и Ельмслев, не испытывает никакого неудобства, беря материал из вторых и вообще каких угодно рук; ведь фактически вся задача сводится лишь к тому, чтобы выйти из положения при помощи чисто внешних приемов: заменить понятие «вместилища» понятием «направления», а разные значения род. падежа тоже назвать «направлением» или, например, «отсутствием направления». А тем временем у Серенсена остаются совершенно вне рассмотрения действительно важные и существенные для русского языка вопросы, как, например, вопрос об омонимии местного и изъяснительного падежей в связи с вопросом об аналитической форме падежа в русском языке вообще проблема падежной омонимии в связи с вопросом о так называемом «синкретизме» падежей²⁵ и многие другие.

Ведь самые факты, приводимые Якобсоном, требуют серьезнейшей проверки. Формы «первого и второго местного и родительного» реально различаются лишь в очень ограниченном числе слов. Кроме того, это различие не поддерживается согласуемыми словами (например: *в этом большом лесу* и *в этом большом лесе*, *рюмка этого крепкого коньяка* и *рюмка этого крепкого коньяку* и т. п. (ср. также указ. соч. Якобсона, стр. 280). Неудивительно поэтому, что эти сравнительно редкие случаи морфологической дифференциации не только не выступают в современном русском языке в виде устойчивой основы для соответствующего решения вопроса о падежной омонимии, но, напротив, сами все больше подводятся под общую систему, обнимающую несравненно больший круг слов. Так, например, *выпить* можно и *рюмку коньяку*, и *рюмку коньяка*. Вряд ли кто теперь скажет (или напишет) *цветы без запаху*. Число примеров можно было бы значительно увеличить.

Попытку применения принципов Ельмслева к датскому языку находим у Дидериксена²⁶. Правда, в отличие от бодро настроенного Серенсена, Дидериксен скорбит по поводу огромных трудностей, возникающих в связи с тем, что опубликованные до 1949 г. версии морфематической теории Ельмслева не содержат никаких указаний на то, каким образом надлежит определить синтаксические условия, в которых может регистрироваться «направление». В частности, например, Дидериксену остается неясным, каким образом согласование между падежом субъекта и предиката в латинском языке, используемое в качестве доказательства «гомонекуаль-

²⁵ См. В. В. Виноградов, *Русский язык*, М.—Л., Учпедгиз, 1947, стр. 169—177.

²⁶ P. Diderichsen, *Morpheme Categories in Modern Danish*, «Travaux du cercle linguistique de Copenhague», v. V, Copenhague, 1949, p. 139—140.

ного направления», должно объясняться безотносительно к семантическим отношениям этих двух членов (в отличие от субъектно-объектного отношения). Однако, несмотря на все эти трудности, Дидериксен все же решается рассматривать падеж как «категорию основных морфем» и считает, что в категорию падежа вообще оказывается возможным включить целый ряд форм, которые прежде рассматривались как наречия, лишь исторически образованные от существительных, и потому, по его мнению, ничто не препятствует составлению следующей парадигмы для датского языка (указ. соч., стр. 140): номинатив—*hjem* («дом, родина, жилище»; ср. англ. *home*, нем. *Heim*); генитив —*hjems*; локатив —*hjemme*; аблатив —*hjemmen* (fга); аблатив — *hjem*²⁷.

Составляя подобную парадигму, Дидериксен поступает с датским языковым материалом примерно так, как поступили бы мы, включив в парадигму существительного *дом* наречие *домой*. При этом Дидериксен и Ельмслев используют для построения подобных «парадигм» именно вполне определенные наречия. Для подтверждения данного положения можно привести еще пример. Так, в датском языке есть наречие *delvis* «по частям». Кроме того, имеется существительное *del* «часть», которое, естественно, может определяться прилагательными, например *stor del* «большая часть». Наречие же *delvis*, понятно, не определяется прилагательными, и перевести, например, русское *большими частями* на датский язык как *stor delvis* никак нельзя именно вследствие того, что *delvis* — не падеж от существительного *del*, а *-vis* не флексия падежа (по той же причине нельзя сказать, например, и *stor pletvis* и т. п.). То же обстоятельство, что в венгерском языке имеется дистрибутивный падеж, а, например, в лакском еще много разных падежей, не имеет сюда никакого отношения. Точно так же готское *gistradagis* является наречием и значит «завтра» (*-dagis* не выступает здесь как форма род. падежа от существительного *dags*, так как тогда было бы *histris dagis*). Все эти случаи так же далеки от существительного и падежа, как русское *домой*, причем случай с *-vis* еще дальше, потому что *-vis* никогда и не был морфемой падежа.

Рассмотренные материалы приводят нас к выводу, что «теория чистой формы», выдвигаемая Ельмслевом, совершенно неспособна что-либо дать языкознанию. Хотя его ученики и стремятся применить ее в своих ис-

²⁷ То, что парадигма Дидериксена вполне соответствует идеям и принципам его учителя, видно, например, хотя бы из следующего рассуждения Ельмслева: «Всегда трудно узнать,— пишет он,— что следует понимать под адвербиальными морфемами в отличие от „собственно“ морфем падежа. Повсюду встречаются морфемы падежа, которые не признаются за таковые традиционной грамматикой, но тем не менее в реальности существуют. Тот факт, что данная морфема соединяется лишь с ограниченным числом семантем, наблюдается даже в случае многих падежных форм, признаваемых традиционной грамматикой разных языков, и этот факт не мешает этой морфеме быть продуктивной. Так, например, в современном датском языке морфема *-vis* не рассматривается традиционной грамматикой как морфема падежа, но как адвербиальная морфема. В действительности же эта морфема легко соединяется с любым существительным: *du sin vis* „дюжинами“, *pundevis* „фунтами“, *pletvis* „здесь и там, местами“ (в переводе Ельмслева — *ça et là*, *plet* — *endroit*) и т. д. Говорящий субъект может актом своей воли образовывать по потребности любое число примеров этого типа. В действительности ничто не препятствует тому, чтобы называть эту морфему падежной морфемой. Напомним, что венгерская морфема *-nkent*, значение которой в точности то же самое... и употребление которой также „ограничено“, входит в традиционную систему падежей в качестве форманта падежа, называемого „дистрибутивным“. Так называемые адвербиальные морфемы нельзя отделять от морфем падежа, если желательно достичь последовательной и мотивированной системы» (*Principes de grammaire générale*), 313—314). А из «Категории падежей» (I, стр. 118) мы узнаем, что «генитивом» является не только готское *nahts*, но и *gistradagis* и *in allis* (ср. также «La categorie des cas», I, стр. 97—98).

следованиях из этого ничего не получается. Поэтому, хотя их усилия и направлялись на развитие и разработку соответствующих общих положений, объективно они доказали полную несостоятельность этих последних.

3

Опубликование «Категории падежей» (1935—1937 гг.) примерно совпало по времени с началом «нового» периода в деятельности Ельмслева, т. е. с его переходом к глоссематике. В 1935 г. на фонетическом конгрессе в Лондоне Ельмслев уже всячески стремится подчеркнуть оригинальность своих построений, полный отход от обычно принятых точек зрения. Если в «Принципах общей грамматики» и «Категории падежей» Ельмслев подробно разбирает положения своих предшественников и стремится использовать те из них, которые представляются ему правильными, то теперь он отрицает преемственность, претендует на полную оригинальность. Ф. де Соссюр теперь — единственный языковед, которому Ельмслев считает себя в какой-то мере обязанным; однако он подчеркивает, что его собственный «теоретический метод» начал оформляться до того, как он познакомился с теорией де Соссюра.

Сущность нового этапа в развитии теоретического метода Ельмслева — открытый переход к воинствующему идеализму, полное «освобождение» языкознания от какого бы то ни было «соприкосновения» с какой бы то ни было «субстанцией». Ельмслев ставит теперь себе задачу изучения «языка» (в смысле соссюровского *langue*) как «чистой формы или схемы», существующей имманентно и не зависящей от ее практических «реализаций», т. е. стремится к созданию «имманентной алгебры языка». При этом он все решительнее подчеркивает свою связь с «логическим позитивизмом» Уайтхеда (Whitehead), Рассела (Russel) и Карнапа (Carnap) — наиболее реакционным, воинствующим направлением современного идеализма, понимающим «структуру» как системы «чистых соотношений», рассматриваемых по м и м о соотносящихся предметов и независимо от них. Ниже будет показано, как выглядит это понимание структуры, примененное Ельмслевом к языку, у представителей «логического позитивизма», в частности у Карнапа: всякое научное положение рассматривается ими лишь как заявление о соотношениях, не предполагающее знания соотносимых предметов.

Попытаемся теперь показать, как конкретно мыслит Ельмслев создание и применение глоссематики, или «имманентной алгебры языка». Вопреки декларативным заявлениям, Ельмслев в его трудах, относящихся к «новому» периоду, не свободен от определенной связи как с де Соссюром, так и с неососсюрианцами. Он не только усваивает важнейшие из выводов этих последних, но и использует их как отправную точку. В доказательство сошлемся на известную статью Ельмслева «Notes sur les oppositions supprimables»²⁸. Как известно, «устраняемые оппозиции» (*oppositions supprimables*) или «нейтрализация оппозиций» — понятия, принадлежащие пражской фонологии. Они возникли при трактовке звуковых корреляций в чисто функциональном или «фонологическом» плане: так, если, например, *d* и *t* вообще отчетливо противопоставляются друг другу как фонемы и как таковые выполняют определенные различительные функции в звуковой системе русского языка, то в конечном положении они теряют способность различаться, вследствие чего, например, русские *rod* (рот) и *rot* (рот) оказываются внешне неразличимыми. Ельмслев эту теорию «нейтрализации оппозиций» рассматривает как революционизирую-

²⁸ L. Hjelmslev, Notes sur les oppositions supprimables, «Travaux du cercle linguistique de Prague», 8, 1939, p. 51—57.

шее открытие и считает, что теперь можно совершенно покончить со «старым» методом в фонологии, шедшим от субстанции к форме, от конкретных фактов к все более абстрактным, и принять совершенно обратный порядок, исходя из «чистых» форм и функций и лишь выводя из них «факты субстанции» как вторичные. Этот «новый» порядок изучения Ельмслев распространяет на все стороны и явления языка. Так, например, если вообще морфемы *-us* и *-um* различаются (противопоставляются) в латинском языке по линии «номинатив — аккузатив» (*domus — domum*), то в *templum — templum*, например, это противопоставление «нейтрализуется», т. е. оказывается невыраженным в «субстанции», вследствие чего соответствующие единицы в целом становятся «структурно тождественными».

Поскольку на этом этапе дело ограничивалось только рассуждениями по поводу «революционизирующего» значения новых открытий и невероятно широкими и многообещающими выводами из, казалось бы, таких частных и специальных фактов, как явление нейтрализации оппозиций в области фонологии, и поскольку поэтому оставалось совершенно непонятным, каким же образом на основе отсутствия выраженных корреляций можно описывать языковые системы, полное и окончательное изложение глоссематической доктрины, которое Ельмслев начал обещать уже с 1936 г., ожидалось с значительным интересом. Однако в течение последующих семи лет Ельмслев ограничивался частными статьями по отдельным вопросам и лишь в 1943 г. появилось, наконец, теоретическое изложение основ глоссематики под весьма многообещающим названием «К обоснованию теории языка»²⁹.

Переходя к характеристике этой основной работы, следует обратить внимание на ее крайне абстрактный и декларативный характер. Обычная лингвистическая терминология в ней выбрасывается и заменяется сложной и своеобразной системой терминов. Вопреки ожиданию, усложнение и специализация вводимых понятий не сопровождается пропорциональным увеличением иллюстративного или разъяснительного языкового материала и нет даже и тени попытки продемонстрировать применение декларируемых принципов к описанию целого языка, показать возможность одинакового применения постулируемых правил к звуковой, морфологической, лексической и стилистической системам языка. Напротив, начиная с выхода в свет книги «К обоснованию теории языка», силы Ельмслева направлены на повторение ее основных положений.

Основной принцип глоссематики Ельмслев называет «принципом эмпиризма» (*empiriprincipet*). Однако он сразу же предостерегает против понимания этого принципа как возвращения к индуктивным методам старой лингвистики, которая шла от отдельного звука к фонеме, от отдельных фонем к их категориям и т. п. Ельмслев считает, что индукция совершенно неспособна привести исследователя от того, что колеблется, к тому, что является постоянным (*fra fluktuation til konstans*). Ельмслев полагает, что если уж что-либо «дано» исследователю в гносеологическом понимании этого слова, то оно дано в еще неразобранном (*uanalyserede*) т е к с т е, в его неразделенной и абсолютной цельности (*helhed*). Единственный возможный путь исследования, по Ельмслеву, — рассматривать текст как класс, который подразделяется на отрезки; эти отрезки — снова как классы, делящиеся далее, и так до тех пор, пока возможность дальнейшего деления не будет исчерпана. Этот способ лингвистического исследования

²⁹ L. Hjelmslev, 'Omkring sprogteoriens grundlæggelse'. Извлечение из *Festskrift, udg. af Københavns Universitet*, nov. 1943. (См. в англ. переводе: L. Hjelmslev, *Prolegomena to a theory of language*, Baltimore, Waverly Press inc., 1953. Supplement to *International Journal of American Linguistics*, 1953, Jan., v. 19, № 1.)

Ельмслев называет «дедукцией», а предлагаемый им метод языкознания в целом — «эмпирическим» и «дедуктивным». Обоим терминам, таким образом, придается весьма специфический смысл.

Еще более специфический (а лучше сказать — открыто идеалистический и потому антинаучный) смысл имеет в понимании Ельмслева лингвистическая теория. Оказывается, что в определении самого понятия «теория» следует совершенно уклониться от гносеологических проблем как не актуальных для лингвиста: по мнению Ельмслева, вся задача теории сводится к созданию такого метода или суммы приемов, посредством которого данные предметы могли бы описываться «свободным от противоречий и исчерпывающим способом». Такое описание, оказывается, и ведет к тому, что мы обычно называем знанием или познанием предмета, и, следовательно, задача теории заключается в том, чтобы показать путь к этому знанию или познанию. Что самое интересное, мы, оказывается, приобретаем таким образом возможность познания всех предметов аналогичного строения, вследствие чего данная теория приобретает всеобщий характер.

Одним из основных и наиболее общепринятых положений современного буржуазного позитивизма является непознаваемость реально существующего мира. По мнению позитивистов, только люди отсталые и метафизически мыслящие могут думать, что путем наблюдения и исследования можно достичь познания реально существующих, объективно данных предметов. «Современная наука» (т. е. современный буржуазный позитивизм) уже давно стремится свести все науки и научное знание вообще к описаниям, не зависящим от опыта, обусловленным только внутренней логикой самого построения. В полном соответствии с этой «новой» и «научной» (т. е. на самом деле старой и антинаучной) концепцией, теория, по мнению Ельмслева, должна быть совершенно независима от всякого опыта. Она должна образовывать закрытую систему и определять посредством чисто дедуктивных операций выводы, вытекающие из заданных предпосылок. Предпосылки же должны устанавливаться теоретиком таким образом, чтобы они удовлетворяли условиям, позволяющим применять теорию к определенным данным. Поскольку из данных опыта избираются лишь те, к которым может применяться данная теория, они не могут ни подтвердить, ни опровергнуть ее универсальных прав. Она будет считаться пригодной во всех случаях при условии, что процедура будет исчерпывающей и свободной от противоречий.

*

Ельмслев требует, чтобы определения, которыми должна будет пользоваться «новая» теория языка, поскольку перед ней поставлена задача быть «неметафизической», были формальными, т. е. имеющими целью лишь определить или установить понятие по отношению к уже определенным или установленным другим понятиям, в отличие от реальных определений старого «метафизического» языкознания. Производя упоминавшийся выше анализ текста на основе формальных определений, глоссематик должен стараться как можно скорее довести языкознание до уровня «современной науки». Он должен признать, что всякая совокупность состоит не из предметов, а из их связей (*sammenhaenge*), и что не субстанции, а только отношения между ними существуют для науки. Иными словами, если для непосредственного восприятия линии связи или соединения и взаимозависимости частей в предмете представляются в торичными, производными, то для глоссематика они должны выступать как первичные и основные. Постулирование предметов как отдельных от терминов отношений представляет собой для Ельмслева всего лишь «метафизическую гипотезу».

В связи с этим самым важным для Ельмслева оказывается наметить априорным и умозрительным путем систему терминов и определений и лишь затем заняться языковым материалом, привлекаемым не для анализа, а скорее для иллюстрирования этих априорно построенных положений.

Характерно также и то, что выдвигаемые Ельмсловом три группы «отношений» и «зависимостей»: 1) взаимные зависимости, 2) односторонние зависимости, 3) более свободные зависимости — претендуют на универсальность. На их основе Ельмслев, исходя из систем введенных им терминов и определений, находит вполне возможным окончательно разделаться с делением на морфологию и синтаксис, которое «старое классическое языкознание» с древних времен считало необходимым. «Взаимозависимость» следует теперь отыскивать не только в соотношениях между словами в словосочетании, но и между частями слова. Новый метод анализа якобы дает возможность «обнаружить внутри слова взаимосвязи, совершенно аналогичные тем, которые находим в словосочетаниях», и поддающиеся совершенно тому же делению и описанию. Так, например, одностороннюю зависимость в тексте («селекцию»), при которой один член определяет другой, но не наоборот, можно найти не только при наличии отношений у п р а в л е н и я в словосочетании, как этому учила традиционная грамматика (например, лат. *sine* и аблатив), но и в отношениях между аффиксальной частью (*afledningsdel*) слова и его основой. (Точно так же, как в случае с *sine* и аблативом, где *sine* предполагает наличие в тексте аблатива, а аблатив может употребляться и без *sine*, аффиксальная часть предполагает наличие основы, тогда как основа может употребляться и без аффиксальной части).

Оказывается, между прочим, что пример с соотношением основы и аффиксальной части может быть использован уже как пример «селекции» в универсальном значении этого понятия. «Взаимозависимость в тексте» («солидарность») переносится также и на определенные отношения морфем в слове; ср. наличие морфем разных категорий внутри одной грамматической формы — например, морфемы числа и морфемы падежа. Отношение «солидарности» можно обнаружить путем раздельного рассмотрения каждой парадигмы (*morphemparadigme*), т. е. парадигмы числа, парадигмы падежа и т. п., в тех случаях, когда все эти значения (т. е. число, падеж и т. п.) оказываются взаимозависимыми, предполагающими друг друга. Изложенные универсальные методы оказываются, по глоссематике, вполне применимыми и, например, к слогу: при данных структурных условиях выделяется центральная часть слога (*central stavelsesdel*) — гласный или сонант и периферийная (или «маргинальная» — *marginal*) — согласный или несонант. В силу того, что «маргинальная» часть слога обуславливает «текстуальное» (*textuel*) сосуществование с нею центральной части слога, но не наоборот, данное отношение также является «селекцией». Это насильственное уничтожение границ морфологии и синтаксиса, всякого качественного различия между словом и слогом, словом и словосочетанием имеет вполне ясную цель: уничтожение науки о языке путем искусственного стирания границ между языком и всеми другими системами знаков (или «семиологическими системами»), путем дальнейшей разработки идей «общей семиологии» или «семантики», подлинная сущность которой будет охарактеризована ниже.

Глоссематический анализ текста должен идти, согласно Ельмслову, этапами, после каждого из которых составляется инвентарь величин, занимающих одно и то же место в цепи. С каждым этапом анализа число инвентаризируемых таким образом величин уменьшается и наконец становится ограниченным (так, если число периодов безгранично, то число слогов

уже является ограниченным, число же фонем во всяком языке может быть изображено двухзначной цифрой). Величины разных степеней могут обладать одной и той же реальной протяженностью (например, лат. *i* «иди»³⁰).

В процессе глоссематической дедукции имеется этап, знаменующий переход от элементов, являющихся знаками, к элементам, уже более ими не являющимся. Этот переход приходится на границу между словом и слогом, на основании чего формулируется следующий закон: переход от знака к незнаку никогда не наступает позже, чем переход от неограниченного числа единиц к ограниченному. Незнак, входящий в знак в качестве его составной части, называется *ф и г у р о й*. Сущность языка состоит в том, чтобы посредством все новых соединений небольшого числа фигур образовывать множество знаков. Поэтому язык, по Ельмслеву, является не системой знаков, а системой фигур. «Старое» определение языка как системы знаков принимает во внимание лишь внешние функции языка, его связь с окружающими неязыковыми факторами, но не собственные внутренние функции языка.

«Старое» языкознание считает, что знак указывает на содержание, лежащее в нем языка, глоссематика же утверждает, что «целесообразно» говорить лишь о том, существование чего можно считать «установленным», т. е. о *ф у н к ц и* и знака с двумя *ф у н к т и в а м и*: выражением (*udtryk*) и содержанием (*indhold*). Оба эти функтива являются солидарными (не могут существовать друг без друга). Словам «выражение» и «содержание», однако, Ельмслев не придает реального значения; их следует, по мнению Ельмслева, понимать лишь как произвольные названия для двух функтивов функции языка. Если спросить, признает ли Ельмслев наличие чего-то лежащего, в основе языкового знака, то мы получим следующий ответ. Если, например, перевести датское *jeg ved det ikke* «я этого не знаю» на разные языки, то получим разные способы выражения, которые окажутся объединенными общим *з н а ч е н и е м* (meaning). Это «значение» представляет собой, по Ельмслеву, «аморфную массу». Его форму в каждом языке определяют исключительно знаковые функции (*tegnfunktioner*) каждого языка и функции, выводимые из этих функций. «Значение», становясь каждый раз «субстанцией» для новой формы, не знает для «глоссематика» другого существования, кроме как в виде субстанции для той или другой формы. Поэтому становится возможной констатация в «содержании» (*indhold*) языка специфической формы — «формы содержания» (*indholdsform*), независимой от значения, находящейся с ним в произвольном соотношении и оформляющей его в *с у б с т а н ц и ю с о д е р ж а н и я* (*indholds-substans*).

Если верить Ельмслеву на слово, то такое понимание языкового знака дает возможность отказаться от деления науки о языке на фонетику, морфологию, синтаксис и семасиологию (стремление во что бы то ни стало каждый раз хоть попутно обрушиться все на те же «ветряные мельницы» никак не оставляет Ельмслева); кроме того, по мнению Ельмслева, это понимание вносит «ясность» и «простоту» (! — О. А.) в вопросы лингвистического анализа и позволяет «разъяснить весь механизм языка не известным до сих пор способом на основе научно обоснованных схем». И «план выражения» и «план содержания» якобы поддаются, таким образом, «исчерпывающему и свободному от противоречий описанию» и, что самое интересное, поскольку они выступают как построенные совер-

³⁰ Разъяснение этого классического примера см. у А. А. Реформатского в его «Введении в языковедение», М., Учпедгиз, 1947, стр. 11.

шенно аналогичным образом и со всех точек зрения параллельные и одинаково организованные величины, выбор терминов «план выражения» и «план содержания» оказывается совершенно произвольным, и неважно, какой из них называть содержанием, а какой выражением: важно лишь, чтобы они оба определялись как взаимно солидарные.

Вводимые Ельмслевом понятия «инвариант» и «вариант» как будто бы не требуют особого разъяснения, поскольку термин «инвариант» соответствует, грубо говоря, тому, что в плане выражения называлось в «старой лингвистике» фонемой. «Достижение» Ельмслева здесь состоит в том, что он распространил это понятие на оба плана языка, причем якобы нашел способ выделять «инварианты» для всех единиц, а не только для простейших или предельных «единиц выражения» (например, фонем). Для демонстрации того полного параллелизма, который якобы существует при выделении фигур как в плане содержания, так и в плане выражения, приводится следующий пример. Предположим, что путем механического инвентаризирования на более низком этапе анализа получены такие «величины», как *человек*, *женщина*, *мужчина*, *конь*, *жеребец*, *кобыла*, *он*, *она* и т. п. Различное комбинирование элементов этого рода, являющихся словами, ничем не отличается, по Ельмслеву, от комбинирования тех элементов, которые в обычном понимании именуются фонемами. Так, например, *жеребец*, равняясь «он плюс конь», будет отличаться, например, от *кобыла*, равняющегося «она плюс конь», так же, как, например, «s плюс l» (т. е. *sl*) отличается от «f плюс l» (т. е. *fl*). Далее, *жеребец* отличается от *мужчина*, которое равняется «он плюс человек», так, как *sl* отличается от *sn*. Эти примеры должны, по мнению Ельмслева, вполне убедить читателя в выполнимости глоссематических «правил анализа»: сведения многочисленных и сплошных масс величин к величинам, входящим в ограниченный и систематизированный инвентарь языка, причем «ограниченный инвентарь элементов» якобы будет получен для «плана содержания» точно таким же путем, как это уже делается для «плана выражения».

Выделение «инвариантов» помогает Ельмслеву ликвидировать и «устаревшее» деление на морфологию и синтаксис. При этом большую роль должна играть регистрация «коннективов» (*konnektive*), которые в «плане выражения» часто бывают тождественны тому, что в старом языкознании называли связующим гласным, а в «плане содержания» — тому, что прежде называли союзами. На основе регистрации «коннективов» Ельмслев делит периоды на простые предложения и сводит весь «инвентарь» через одно главное и одно придаточное предложение к одному предложению с двумя «функциональными возможностями». Тогда главное (или «избираемое» — *selekterede*) предложение и придаточное (или «избирающее» — *selekterende*) предложение выступают уже не как два вида предложений, а как два вида функции или два варианта предложения. При этом особый порядок слов в определенных видах предложений выступает как с и г н а л этих вариантов предложения и, таким образом, не препятствует сведению разных предложений к одному типу. Вместе с тем имя, выступающее в виде субъекта, и имя, входящее в предикат (*subjekt* и *predikatsnomen*), выступают как варианты одного и того же имени. Объект в языках, не имеющих объектного падежа, выступит как вариант той же линии, а в языках, имеющих объектный падеж, он будет вариантом имени в этом падеже. Таким образом, глоссематика претендует на то, чтобы дать возможность специфику определять специфику любого языка, указывая, какие он имеет категории, а также отношения и число инвариантов, входящих в каждую из таких категорий. Операция, которая позволяет обнаружить инварианты, т. е. определить корреляцию в одном плане, как имеющую отношение к корреляции в другом плане, называется

к о м м у т а ц и е й. Поскольку основным постулатом является то, что язык состоит из содержания и выражения, которые вообще, по Ельмслеву, существуют только как отношение, т. е. только в силу их взаимной связанности, а связаны они в силу к о м м у т а ц и и, последняя выступает как основное звено, как «сезам отворись» всей системы.

Ельмслев думает, что изложенная им система представляет собой огромное достижение не только по сравнению со «старой» лингвистикой, которая механически переносила на современные языки критерии латинской грамматики, различала фонетику, морфологию и синтаксис и т. п. Новая система рекламируется как достижение и по сравнению с принципами, выдвинутыми самим Ельмслевом в «Принципах общей грамматики», поскольку тогда им еще не был провозглашен универсальный принцип «коммутации». Таким образом, все, что предшествовало этому «открытию», по мнению Ельмслева, вело к односторонности, к неправильному представлению о природе языка, причем, будет ли лингвист идти от выражения к содержанию или от содержания к выражению, он все равно не преодолеет этой односторонности. Он сможет преодолеть ее и построить действительно научную (так, как понимает это Ельмслев) лингвистику, т. е. и м м а - н е н т н у ю а л г е б р у я з ы к а, только при том условии, если лингвистическое изучение выражения не будет фонетикой или изучением звуков, а лингвистическое изучение содержания не будет семиологией или наукой о значениях. Задачей лингвистики, по Ельмслеву, является, следовательно, создание «учения о выражении» (udtrykslaere) и «учения о содержании» (indholdslaere) на в н у т р е н н е - ф у н к ц и о н а л ь н о й о с н о в е, т. е. таким образом, чтобы наука о выражении строилась без звуковых или «феноменологических» предпосылок, а наука о содержании — без онтологических или «феноменологических» предпосылок. Тогда, в отличие от классического языкознания, была бы осуществлена лингвистика, в которой «учение о выражении» не было бы фонетикой, а «учение о содержании» не было бы наукой о значении (betydningslaere). Поскольку все это является совершенно и принципиально «новым», Ельмслев вводит для обозначения новой дисциплины и новое название, считая, что термин «лингвистика» должен употребляться для обозначения традиционной науки о языке. Новое название — г л о с с е м а т и к а — подчеркивает отличие придуманной Ельмслевом науки от предыдущего языкознания³¹.

*

Поскольку в глоссематике «языковые формы» рассматриваются относительно к субстанции, введенный Ельмслевом научный аппарат может, по мысли его автора, применяться к любой «структуре», форма которой аналогична обычному языку (talesprog). При этом Ельмслев старается всячески преуменьшить роль звукового языка, настаивая на том, что «звуко-мимико-жестикуляторная субстанция» может заменяться любой другой субстанцией, годной для данных целей: не говоря уже о графической субстанции (употребление которой, по мнению Ельмслева, вовсе не связано с транспонированием в звуковую субстанцию), сюда относятся разного рода коды, азбука глухонемых и т. п. То, что все эти «языки» нормально оказываются производными по отношению к звуковому чело-

³¹ Общие принципы, устанавливаемые Ельмслевом в «теории языка», имеют, по его мнению, значение не только для языкознания, но и для всех наук. То, что вообще с одной точки зрения является субстанцией, с другой — является формой. Функцивы обозначают только конечные пункты и точки пересечения функций, и лишь функциональная «сеть зависимостей» является познаваемой и имеющей научное существование, тогда как «субстанция» в онтологическом понимании этого термина остается «метафизическим понятием».

веческому языку, нисколько не смущает Ельмслева: для него важно лишь, чтобы данная «манифестация» могла служить проявлением данной «языковой формы». Кроме того, утверждение о производности той или иной «манифестации» представляется ему спорным, поскольку, например, «создание буквенного письма скрывается в доистории» и предположение, что оно основывалось на анализе звуковой речи, по его мнению, является лишь вероятной гипотезой. Отсюда и вывод о том, что одной и той же «системе содержания» могут соответствовать несколько «систем выражения», вследствие чего задачей языкознания является не только описать фактически существующие «системы выражения», но и определить (*begrepe*), какие системы, кроме этих, возможны, как выражение для данной «системы содержания», и наоборот. Ведь языковые величины имеют алгебраический характер (*natur*) и, будучи лишены естественных (от природы данных — *naturgivne*) наименований, могут называться произвольно и разными способами. Отсюда и определение Ельмслевом языка как «иерархии, каждый из отрезков которой допускает дальнейшее деление на классы, определяемые на основе их взаимного отношения так, что любой из этих классов поддается делению на дериваты, определяемые на основе взаимной мутации» (!).

Это определение преподносится в качестве основы для всего дальнейшего развития лингвистики в ельмслевом понимании этого термина, поскольку любая «структура», удовлетворяющая этому определению, будет рассматриваться как ее предмет, и «лингвист» не сможет в дальнейшем изучать обычный язык (*talesprog*), не стремясь к получению «более широкой перспективы», т. е. не включая в свой предмет и других структур (это представляется Ельмслеву особенно важным также потому, что некоторые из других структур проще, чем *talesprog*, и потому могут служить удобными моделями для изучения последнего). Для того, чтобы осуществить эти задачи лингвистики, необходимо тесное сотрудничество с логиками, потому что именно эти последние берут в качестве главного предмета своего исследования системы знаков, рассматриваемые как абстрактные системы преобразования (*omformingsssystemer*), и потому что именно с их стороны исходит инициатива изучения обычного языка на этой основе.

Главной работой, имеющей наибольшее значение для лингвистики, Ельмслев считает «Логический синтаксис языка» завзятого идеалиста Р. Карнапа³². Развитые в этой работе положения дают, по его мнению, возможность объединения целого ряда наук — от литературоведения, искусствоведения, теории музыки и всеобщей истории до логики и математики — и создания «всеобщей энциклопедии знаковых структур». Эта «логистическая» теория знака, восходящая к математике Хильберта и прошедшая через «металогикку», нашла, по мнению Ельмслева, в знаковой теории Карнапа свое наивысшее развитие, выразившееся в том, что каждый язык рассматривается этой теорией только и исключительно как система выражения, безотносительно к содержанию. Таким образом, знаковая теория Карнапа помогла созданию глоссематики и «освобождению» ее от положений старой лингвистической теории, в которой знак определялся на основе его значения (*ved sin betyding*).

4

Как видно из изложенного, основная задача глоссематики состоит в объединении языкознания с доктриной «логического позитивизма» — самой активной в настоящее время школой буржуазного агностицизма, являющейся проявлением того философского маразма, который порожд-

³² R. Carnap, *Logische Syntax der Sprache*, Wien, 1934.

ден страхом империализма перед объективной действительностью. Основным социальным заказом, который империализм дает своим идеологам, является изыскание наукообразных способов сокрытия истины, изобретение различных идеалистических вывертов и ухищрений, облакаемых в «новейшую» псевдонаучную фразеологию для поддержания ветхих идей о непознаваемости мира, о метафизичности и трансцендентности всякой субстанции, всякой объективной реальности, существующей помимо нашего сознания и независимо от него. Особенно важно идеологам империализма найти способ сокрытия истинной природы общественных явлений, объективных законов, действующих в человеческом обществе. Действительно, что может принести империализму и его идеологам изучение реальной действительности, проникновение в ее существо, познание таких ее законов, как, например, закон обязательного соответствия производственных отношений характеру производительных сил? Объективно существующие экономические законы прямо задевают классовые интересы отживающих сил общества. Отсюда и сопротивление открытию и применению таких законов.

В области гуманитарных наук «логический позитивизм» — одно из наиболее «удобных» и «эффективных» средств сопротивления объективному закону, так как он обещает «новые» и весьма наукообразные пути и возможности отвлечения науки от ее подлинной задачи — познания объективной действительности. «Мы стремились показать, — пишет Р. Карнап в заключении к «Логическому синтаксису языка», — путем краткого рассмотрения проблем научной логики, физики и принадлежащих также к научной логике так называемых основных проблем (Grundlagenprobleme) различных научных областей, что дело здесь по существу сводится к синтаксическим вопросам» (стр. 259). Карнап считает, что им доказана сводимость всех так называемых основных проблем наук к вопросам «синтаксиса научного языка» (стр. 250—251). Так, например, вопрос о природе времени и пространства, по Карнапу, целиком сводится к вопросу о синтаксисе координат времени и пространства. Все основные проблемы биологии сводятся к способам переформулировки «выражений биологического языка» на «язык физики» и т. п. и т. д. Выбор языка «новой науки» должен определяться только соображениями удобства и «технической целесообразности» (стр. 255). Поэтому безразлично, будет ли система основных знаков логической в более узком смысле (как у Фреге и Рассела, например) или также математической (как, например, у Хильберта, основной идеей которого, как известно, было рассмотрение математической системы знаков как системы фигур выражения в полном отвлечении от их содержания и описание ее правил по типу правил игры, т. е. безотносительно к их возможной интерпретации).

Ельмслев не скрывает своей прямой зависимости от Карнапа, он подчеркивает, сколь многим он ему обязан в смысле философского оснащения своей системы. Его задача заключается в подведении лингвистической базы под домыслы логического позитивизма об освобождении научной мысли от естественных «словесных языков» (Wortsprachen), о замене их сложными семантическими системами, имеющими целью «освободить» человечество от веками выработанного им единственного собственно человеческого средства общения — звукового языка. Он выполняет эту задачу путем «научного освобождения» языкознания от языка, путем детальной разработки «теории», доказывающей безразличие языковой системы к субстанции выражения, путем сведения языка к системе «чистых отношений», покоящихся на «законе коммутации», на законе соответствия «планов» совершенно безотносительно к их реальному содержанию. Современная наука, по словам Ельмслева, вполне может заменить

язык новыми и усовершенствованными семантическими системами, поскольку от языка требуется только одно — соответствовать «определению», даваемому глоссематикой, т. е. представлять собой «иерархию, каждый отрезок которой допускает дальнейшее деление на классы, определяемые на основе их взаимного отношения...» (см. выше). Реальный человеческий звуковой язык для Ельмслева — лишь одна из тех разнообразных систем, которые подходят под это определение и потому могут называться языками. Но он отличается от других систем своей нелогичностью и несовершенством, он плохо приспособлен для того, чтобы удовлетворять потребности «высших форм» человеческого общения, необходимых для современного буржуазного позитивизма, преодолевшего якобы старые и метафизические философские системы. Конечная цель логического позитивизма — создание «усовершенствованных научных языков», замена «содержательной речи» (*inhaltliche Redeweise*) ф о р м а л ь н о й. Тому, кто научится в совершенстве пользоваться этим «языком», не страшна никакая реальность, он совершенно свободен не только от необходимости разбираться в действительных фактах, но и от здравого смысла.

«Необходимость употребления этих слов (имеются в виду слова, выражающие общие или отвлеченные понятия — *Allwörter*. — *O. A.*), — пишет Карнап (указ. соч., стр. 220), — вызвана лишь дефектностью „словесных языков“ (*Wortsprachen*), их нецелесообразным синтаксическим строем». «Это приводит к взгляду, что якобы дело идет о внеязыковых предметах, таких, как числа, предметы, свойства, переживания, ситуации (*Sachverhalte*), пространство, время и т. п. Тот факт (то обстоятельство), что в действительности мы имеем здесь дело с языком, с языковыми образованиями и их связями (т. е. с числовыми выражениями, обозначениями вещей и пространственными координатами и т. п.), скрывается путем облачения в содержательную речь (*inhaltliche Redeweise*); это обстоятельство становится очевидным лишь через перевод (*Übertragung*) в формальную речь (*formale Redeweise*), т. е. в синтаксические предложения о языке и языковых выражениях» (там же, стр. 225). Таким образом, философия «заменяется логикой науки (*Wissenschaftslogik*), т. е. логическим анализом понятий и предложений науки; логика науки есть не что иное, как логический синтаксис научного языка» (там же, стр. III—IV). Разработав некую произвольную «семантическую» систему (например, обозначив несколько видов «индивидуальных констант» знаками *in 1*, *in 2*, *in 3*, несколько видов «предиката» — знаками *pr 1*, *pr 2*, *pr 3* и т. п.), разработав соединительные знаки (по Ельмслеvu — коннективы) на основе логических понятий соединения, противопоставления, взаимного исключения и т. п., можно составлять «предложения» и «фразы» и подставлять что угодно под их отдельные члены; таким образом все, что угодно, может быть доказано как истинное или ложное, и могут быть установлены отношения необходимой связи или зависимости между компонентами, совершенно не связанными друг с другом.

Приведенные цитаты имели целью показать, каким образом система Ельмслева смыкается с «логическим синтаксисом», «семантикой» и подобными им новейшими «достижениями» современного воинствующего идеализма. Таким образом, лингвистическая теория Ельмслева приводит к уничтожению языкознания как особой и самостоятельной науки, изучающей совершенно особое и специфическое общественное явление — звуковой, самобытный человеческий язык, неотделимый от говорящего на нем народа — его творца и носителя, не поддающийся научному изучению в отрыве от истории этого народа и не существующий помимо своей специфической, конкретной формы, обусловленной всем его историческим

развитием. Отсюда следует, что объективно «теория» Ельмслева помогает тем, кто пытается отравить ядом космополитизма сознание народов, отстаивающих свою независимость. Система Ельмслева порочна не потому, что ее автор якобы стремится открыть общие законы языка. Разумная материалистическая абстракция, научно обоснованное отвлечение общих законов, свойственных человеческому языку вообще, от частных и конкретных закономерностей отдельных языков ни в какой мере не противоречит положениям научного языкознания. Более того, самые важные и существенные общие свойства человеческого языка, отличающие это особое общественное явление от всех других общественных явлений, в частности, от общественных явлений надстроечного характера, определены в гениальных трудах величайшего ученого И. В. Сталина, что и дает нам возможность впервые полно и глубоко уяснить природу и сущность человеческого языка.

Порочность системы Ельмслева в том, что, формулируя свои «универсальные» и «панхронические» правила и законы, он совершенно неправомерно, идеалистически, антинаучно объединил, подведя под априористические и надуманные определения, самые разнообразные «семантические» или «знаковые» системы, (такие, как световые сигналы, азбука Морзе, бой башенных часов и т. п.), смешав с ними совершенно особую, качественно и принципиально отличную систему — важнейшее средство общения людей, орудие борьбы и развития общества — звуковой человеческий язык. Поэтому делаемые им выводы, как основанные на искусственном соединении существенно различных предметов, никакой научной и практической ценности иметь не могут.

*

Работа «К обоснованию теории языка» представляет собой как бы высшую точку в «творчестве» Ельмслева. Ельмслев считает, повидимому, что теперь задача заключается лишь в том, чтобы неутомимо и упорно твердить и повторять «основные положения теории». В том, что сказанное соответствует истине, легко убедиться, если взять две теоретические работы Ельмслева, вышедшие за период 1943—1951 гг.

Первая из них — передовая статья к послевоенному номеру «Acta Linguistica» (v. IV, f. 3, p. V—XI) — снова посвящается (правда, уже на французском языке) восхвалению глоссематики как положительного и объективного исследования, которое заменит собой старую философию языка (стр. VI), как «лингвистической лингвистики», т. е. лингвистики «имманентной», отвергающей существование фактов, как логически предшествующих объединяющим их отношениям» (стр. VIII). «Она (глоссематика. — О. А.) требует, чтобы величины определялись через отношения, а не наоборот», и т. д.

Вторая статья — «Метод структурного анализа в лингвистике» (на русском языке³³) появилась на страницах журнала после неоднократных и многообещающих предупреждений о ее появлении, но не дала абсолютно ни одной новой мысли по сравнению с цитированной выше передовой четвертого номера «Acta Linguistica». Более того, она оказалась всего лишь русским вариантом статьи, опубликованной Ельмсловом в 1947 г. на английском языке в «Studia Linguistica» (№ 2) под заглавием «Структурный анализ языка» («Structural Analysis of Language»). И в этой статье снова и снова, как надоевшая присказка, повторяется положение, что реальными языковыми единицами являются отнюдь не

³³ Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, «Acta Linguistica», v. VI, f. 2—3, Copenhagen, 1950—51, стр. 57—67.

звук или письменные знаки и не значения, а представленные звуками или знаками элементы соотношений (стр. 57). Здесь мы снова присутствуем при «очищении» де Соссюра от допущенных им «непоследовательностей» и узнаем, что эту задачу смог выполнить только Луи Ельмслев, сделав это «своей главной задачей в области науки» (стр. 62). Это «новое» понимание осталось, по мнению Ельмслева, «недоступным» (стр. 61), например, пражским фонологам, перенявшим у де Соссюра «...те места его книги, где понятие *langue* выступает не как чистая форма, но где язык понимается как форма в субстанции, а совсем не как нечто от субстанции независимое» (стр. 61). Отсюда необходимость «...провести принципиальную грань... и особенное название глоссематика...», необходимость «...направить свои устремления на изучение языка — *langue* — в смысле чистой формы или схемы независимо от практических реализаций» (стр. 62) и т. д.

Особенно подчеркиваются в статье заслуги Ельмслева, оказавшегося, по его собственному мнению, единственным человеком, правильно понявшим де Соссюра³⁴, хотя и не являющимся просто его последователем. Сообщается также о том, что собственный теоретический метод Ельмслева начал оформляться много лет тому назад, еще до его знакомства с теорией де Соссюра (стр. 63), и что его метод имеет тесную связь с логической теорией языка, вышедшей из математических рассуждений и особенно разработанной Уайтхедом, Расселом, а также венской логистической школой, специально Карнапом и т. п. С удовлетворением отмечается, что Карнап определил понятие структуры совершенно так же, как Ельмслев, т. е. как явление чистой формы и чистых соотношений (стр. 63). Указывается на то, что мнение Карнапа якобы вполне подтверждается результатами, достигнутыми за последние годы языковедением (глоссематикой? — О. А.). В дальнейшем изложении снова повторяются положения об установлении соотношений, не содержащих никаких высказываний о внутренней природе, или сущности, или субстанции этих единиц (стр. 63), рассуждения о «коммутации» и семиологии и о важности «простых семиологических систем, прежде не признававшихся языками» (и информация об их анализе), снова приводятся пять «основных черт»³⁵ без каких-либо дальнейших модификаций и т. д. и т. п. Так топчется на месте «теоретик глоссематики» в надежде, что путем энергичного и упорного повторения на разных языках своих основных положений ему удастся, наконец, убедить еще «не обращенных» языковедов.

³⁴ Как сообщает Ельмслев в данной статье, это признал даже Балли, написавший ему об этом специальное письмо за несколько месяцев до смерти. В связи с указанным фактом любопытен комментарий Ельмслева: «Следует, действительно, удивляться, что это не было сделано раньше» (стр. 62).

³⁵ «1. Язык состоит из содержания и выражения. 2. Язык состоит из последовательного ряда (или текста) и системы. 3. Содержание и выражение взаимно связаны в силу коммутации. 4. Имеются определенные соотношения в тексте и в системе. 5. Соответствие между содержанием и выражением не является прямым соответствием между определенным элементом одного плана и определенным элементом другого, но языковые знаки могут разлагаться на более мелкие компоненты. Такими компонентами знаков являются, например, так называемые фонемы, которые я предпочел бы назвать *таксемами* выражения и которые сами по себе не имеют содержания, но могут слагаться в единицы, имеющие содержание, например, в слова» (Л. Ельмслев, Метод структурного анализа в лингвистике, р. 66—67).